

это слово было впервые употреблено при Французской революции... В стране, где каждый боится и избегает личной ответственности, они чувствуют себя в ответе за все; проявляют инициативу и независимость суждений там, где в норме слепое повиновение; верны и преданы друзьям, близким в мире, где верность и преданность требуются лишь по отношению к начальству и государству. Им присуща личная честь и естественное достоинство поведения там, где понятия эти неуместны и нелепы... Их существование представляется мне почти чудом. И в том, что они таковы, как есть, несмотря на революционное воспитание, я вижу торжество

неразрушимой человеческой сути над обесчеловечивающим окружением».

Хочу отметить напоследок, что именно к этой категории людей принадлежал Андрей Кистяковский, в чьем замечательном переводе мы читаем сегодня «Слепящую тьму». Он работал над переводом без всякой надежды на публикацию, во времена, когда подобная самодеятельность считалась уголовным преступлением. Впрочем, под действие Уголовного кодекса подпадало и дело милосердия — помочь политзаключенным и их семьям,— которое Кистяковский взял на себя после ареста очередного распорядителя фонда. Но это уж другая история.

М. ЗЛОБИНА.



Политика и наука

ЗИГЗАГИ И ЛОВУШКИ ТЕОРИИ

Иного не дано. Сборник под общей редакцией Ю. Н. Афанасьева. М. «Прогресс». 1988. 675 стр.

Издательство «Прогресс» осуществило смелый эксперимент, выявляющий реальное состояние нашей общественной мысли. Результат любого эксперимента легче интерпретировать, если в нем проверяется та или иная гипотеза. На мой взгляд, хорошо работающая гипотеза сформулирована здесь в статье Д. Фурмана «Наш путь к нормальной культуре». Автор пишет, что сейчас нет ничего более важного, чем оживление марксистской мысли: она пострадала сильней всего. И это не парадокс, напротив — закономерность: «...чем дальше по содержанию какое-либо идеяное течение от догматической идеологии, тем больше шансов, что догматики его «пропустят», не заметят. Догматики способны увидеть только еретиков...» В царской России был издан «Капитал», но А. С. Хомяков и В. С. Соловьев свои богословские работы печатали за границей. Так было, так, подчеркивает автор, продолжает быть: кого легче издать — П. А. Флоренского или Л. Д. Троцкого? Что безопаснее: объявить себя ревизионистом или славянофилом? Словом, чем ближе к философскому эпицентру догматизма, тем более печальное зрелище должна являть собой наша мысль; эта гипотеза, к сожалению, подтверждается экспериментом «Прогресса».

Догматизм, конформизм — мишень статьи Г. Водолазова «Кто виноват, что делать и какой счет?». Автор показывает, как с помощью реактивного принципа, освоенного еще амебой (поглотить — вытолкнуть; про-

возгласить гениальным вкладом — отвергнуть как догматическое извращение), можно было вознестись в доктора, академики, вице-президенты АН. Слава гласности — расчищен путь для свободной мысли! Но едва автор делает шаг-другой по пути, пробитому его критическим зарядом, как совершается нечто невероятное: грозный преследователь оказывается верным последователем.

«XX столетие, — пишет Г. Водолазов, — переломное в истории человечества. Речь идет о «переломе» всемирно-исторического масштаба, об изменении самого типа исторического развития...» Происходит, поясняет далее автор, своего рода перманентная революция, длящаяся целую историческую эпоху; перестройка — один из ее этапов, одна из фаз перехода от капитализма к социализму, становления нового типа цивилизации. Точно так же и капитализм не сразу вытеснил феодальное общество, а разрушал его и преобразовывал серией «перестроек».

Едва ли эта идея что-нибудь объяснит в перестройке да и в историческом процессе вообще. Капитализм шаг за шагом наращивал свои отличия от феодального общества, а мы шаг за шагом воссоздаем присущие современному индустриальному обществу формы организации жизни: рыночные регуляторы производства, парламентарную демократию, плюралистическую модель культуры, — конвергируем, сколь ни скомпрометирован этот термин.

На наш взгляд, ловушка, в которую попадает мысль не только одного Бодолазова, коварна, но не столь уж сложна. Дело в том, что мы продолжаем догматически мыслить социализм как посткапиталистическую формацию — первую, низшую стадию коммунизма, а не высшую фазу эволюции индустриального общества. Нас весьма привлекают успехи капитализма, но очень пугает слово «капитализм». Почему?

Капитализм, охарактеризованный Марксом как господство системы наемного труда (принудительный — лучше?) и товарно-денежных отношений, — это органически присущая индустриальному способу производства регуляторная система. Он развивается от стихийного (частного) ко все более организованному состоянию: монополистическому, затем государственному, то есть социалистическому, означающему, что государство становится «главным диспетчером» в экономике. Поэтому социализм не проще, а сложней и многовариантней низших фаз капиталистического развития; он не упраздняет рыночные регуляторы производства, а надстраивает над ними экономические и политические регуляторы более высокого ранга, побуждающие хозяйственный организм ориентироваться на достижение демократически выработанных социальных программ.

Таким и рисуется желанный социализм в наиболее, как мне кажется, зрелых, серьезных экономических статьях Г. Попова и В. Селюнина. Эти авторы боятся не слов, не идеологических жупелов, а того, скажем, что страна наша торгует по преимуществу товаром богоданным и превратила Америку, как острят мрачные оптимисты, в свой аграрный придаток. Ориентиром авторам здесь служили не догмы, а пример человека, который вскоре после социалистической революции, вдохновленной утопией безгосударственности, отмены денег, торговли и т. д. и т. п., нашел в себе мужество заявить о полной перемене воззрений на социализм, сказать, что «госкапитализм выше социализма». (Видимо, Ленин имел в виду тот социализм, каким он мыслился в первые послеоктябрьские годы, ибо госкапитализм не может быть ни выше, ни ниже социализма, то есть себя самого, увиденного в плане экономического устройства.)

Другой вопрос: всякий ли социализм является госкапитализмом? Не всякий — только социализм развитого индустриального общества. В рабском и феодальном — и социализм иной. В рабском — рабский социализм, или госрабство (характерный при-

мер — империя инков). В феодальном — феодальный социализм, или госфеодализм (десятка их скрыты под псевдонимом «азиатский способ производства»). Нехитрая логика, но она многое позволяет понять и в том, почему нэповский путь развития имел — в этом я согласен с одним из авторов сборника, А. Бовиным, — меньше шансов, чем «азиатский», сталинский, и в самом феномене сталинизма, анализируемом едва ли не в большинстве статей.

Россия не прошла классического пути капиталистического развития. Она была своего рода самоколонией: символом стагнирующего феодального общества, которое не успел цивилизовать отрубами дальновидный Столыпин, и крупного капитализма, имевшего в России весьма хищнический и чужеродный облик. Ускоренное развитие таких обществ, всяческие «большие скачки», чем бы они ни подхлестывались (реальными или мнимыми угрозами извне, теоретическими иллюзиями, традициями эстатизма, авантюризмом лидеров и т. д.), всегда чреваты трагедией. О государствование безусловно порождает социализм. Но опять-таки какой? А. Бовин и некоторые другие авторы сборника определяют сталинский социализм как «индустриальный феодализм». Это хороший образ, но теоретически он не совсем точен. В реальности возникает не «индустриальный феодализм», а синтез индустриального и феодального социализма на более низком, практически рабском уровне. Подобный рисунок исторического процесса не запрещен теорией и практически возможен. Всегда, что и ранний капитализм частично воспроизводит рабство (негры американских плантаций, демидовские рабочие). Тут действует принцип «отрицания отрицания», «конструктивного регресса» — прообраз более высокой исторической формы, как бы ее негатив, создается путем якобы возвращения (квазивозвращения) к формам далекого прошлого. Эта логическая возможность и реализовалась в феномене сталинизма, который может быть определен как квазирабский социализм. Возникло парадоксальное общество, существующее в некоем внеисторическом, «прошлобудущем», времени, отрицающее настоящее, мыслящее его лишь как переходную стадию к идеальному, обожествляемому грядущему, но с логической неизбежностью воспроизводящее характернейшие черты древних обществ.

Понимая специфику рабских обществ, наивно спрашивать: случайность ли культ

личности Сталина, почему социалистическое государство оказалось тоталитарным, зачем сокрушали храмы, отчего «научная идеология» была столь нетерпима к религии (наука обычно индифферентна к вере), почему огромную массу людей охватывало безумие подозрительности, охоты за колдунами-вредителями, откуда эта фанатичная, рабская преданность государству, смесь энтузиазма и страха, готовность к жертвам и кровавым жертвоприношениям, что за мания возводить грандиозные, хотя экономически малорентабельные объекты?.. А почему христиане уничтожали языческих идолов? А какова экономическая рентабельность истуканов острова Пасхи?

Постижение этой глубинной, исторической сущности сталинизма — вот то главное, новое, что отличает ряд статей сборника от публицистики, не шедшей дальше идеи «контрреволюционного заговора», « злоупотребления властью», «искажения истинного завета» и представлений о командно-административной системе.

«По сути, сталинизм явился коллективным идолопоклонничеством огромных масштабов»... Система «расположилась внутри нас: поселилась в умах, завладела душами, «вживилась» в сокровенное «я» наших личностей», — пишет Л. Карпинский в статье «Почему сталинизм не сходит со сцены?». «Личность стала мифом, а миф обрел силу реальности», — вторит ему В. Киселев в небольшой, но очень содержательной статье «Сколько моделей социализма было в СССР?». Неизбежной оборотной стороной мифологизации жизни, замечает автор статьи, вспоминая Платонова, становится «принципы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Такими «абсолютными гражданами» и были люди архаических обществ.

Генезис двухформационного общества отчетливо проявляется в двойственности, мистифицированности структур и отношений социального бытия. Например: право на труд — оно же обязанность, закупка — она же взимание дани, наука — она же идеология, свобода — она же необходимость, выборы — они же проверка лояльности, искусство — оно же госмифология. Всюду, куда ни кинь взгляд, — один и тот же мучительный парадокс «прошлобудущего»: вершина — она же и котлован, по горькому замечанию Л. Карпинского.

Квазирабский социализм в определенных отношениях эффективен. Например, он позволяет интегрировать на основе «науч-

ной» мифологии различные этносы империи, отмобилизовывать, не считаясь ни с какими издержками, огромные материальные и трудовые ресурсы, даже давать миллионам людей ощущение высокого смысла жизни. Но чем бы ни казался квазирабский социализм мистифицированному сознанию, объективно он является аномальным состоянием общества, негативом, который не может перейти ни во что другое кроме как в собственный позитив — госкапитализм, то есть нормальный социализм индустриального общества.

Необходимость радикальных реформ была осознана много раньше апреля 1985 года. Что же обрекало реформы? Об этом в сборнике — ряд предельно острых и, пожалуй, наиболее дискуссионных статей.

Прямо и смело излагает свою точку зрения на этот вопрос И. Виноградов в статье «Может ли правда быть поэтапной?». Необходим, считает автор, действительный, недвусмысленный переход от власти парткомов к советской власти, то есть демократически избираемому парламенту, без чего все разговоры о правовом государстве — это «два пишем, три в уме». «...если мы всерьез говорим о необходимости развития демократии, и прежде всего политической демократии как условии действительного полновластия Советов народных депутатов, то мы неизбежно должны будем прийти к предоставлению общественным организациям и союзам... полновесных политических прав... В том числе... на свободное соревновательное участие в выборах... регулируемое лишь общими принципами Основного Закона страны, конституционно закрепляющего социализм в качестве свободно избранного волей народа и являющегося его неприкосновенным достоянием общественного строя».

Одно здесь не совсем понятно: какой социализм свободно избран волей народа — образца «военного коммунизма»? нэпа? коллективизации и Гулага? сегодняшней перестройки? Кто будет определять степень социалистичности претендентов на власть: не они ли сами, добившись власти? Ведь и национал-социалисты тоже не покушаются на «неприкосновенное достояние», хотя и маршируют с криками «хайлы!».

Словом, я не могу согласиться с И. Виноградовым, хотя искренность его мысли внушает глубокое уважение.

Иные чувства пробуждает статья Л. Баткина «Возобновление истории», посвященная той же теме. Статья написана с артистизмом, но перестройка — слишком ответ-

ственное и сложное дело, чтобы использовать ее строительные леса в качестве эстрадных подмостков. Л. Баткин тоже хорошо понимает, что «полновластие под руководством» — это софистика. Однако в отличие от И. Виноградова печется не столько о Советах, сколько о партии, ее влиятельности как политического авангарда общества: «Речь идет не о чем ином, как об интересах партии... Пусть партия во имя своего будущего и будущего нашего народа перестанет отождествлять себя с государством, командовать экономикой и всем остальным тоже... Пусть партия основывает свое могущество исключительно на моральном авторитете и идеином влиянии своих членов... Иной опасливо скажет (про себя, конечно): а захочет ли население подчиняться авторитету, не подкрепленному властью и принуждением? В таких опасениях не очень-то много доверия и уважения к партии. Они циничны и ужасны, эти невысказанные опасения. Нет худших противников КПСС, чем люди в ее собственных рядах, которые от души полагают, основываясь, впрочем, на трезвой оценке своих духовных и интеллектуальных возможностей: убедительность силы не заменить силой убедительности».

Энгельс некогда говорил, что этикетки в политике подчас обманывают не только покупателя, но и самого продавца. Тут уникальный случай: только продавца, хотя и это сомнительно. Я около тридцати лет в партии. Следовательно, это и от моего имени народу было обещано скорое восшествие в рай земной, замененное в указанный

срок Олимпиадой-80. Да, тогда я тоже верил. Но в 1968-м, когда танки в Праге утюжили всходы нынешней перестройки, уже кое-что понимал, как и многое другое потом. Так какие теперь у меня основания полагать, что избиратели предпочтут кандидата моей партии, а не любого другого, отличающегося хотя бы одним: меньшей ответственностью за прошлое?

Трудно поверить в искренность пассажей Л. Баткина, как и назвать продуманным заявление еще одного автора сборника, А. Миграняна, что все классы и социальные группы сегодня разделяют основные, базисные ценности марксизма и социализма. Гораздо взрослей, серьезней другое утверждение того же автора: «Проводимая реформа политической системы должна исходить из императивного требования наличия в политической системе такого центра силы, который на каждом этапе реформы при возможных конфликтах и противоречиях и возможных потрясениях в обществе смог бы гарантировать политическую систему от распада... Подобным центром силы в нашей политической системе является партия».

Это данность, реальность, которая обуславливает не право КПСС на власть, а ее историческую обязанность находиться у власти во имя углубления демократического и правовосстановительного процесса. Дело за механизмами, делающими эту власть конструктивной, законной и подконтрольной как обществу в целом, так и самим членам партии.

Вс. ВИЛЬЧЕК.